

МИКРОБА

*И дней моих поток, так долго мутный,
Теперь утих дремотою минутной
И отразил небесную лазурь.*

А. ПУШКИН

Подъезд был угловой, старый и затаенно-влажный, каким он всегда и помнился. Мужчина сидел на лавочке, смотрел. Позади было то, что звалось когда-то двором, а нынче, уходя и растворяясь в пустотах между легковесных многоэтажек, сделалось ничьим междомьем для проходящих. В этот подъезд мужчину внесли из родильного дома и в этот подъезд (уже можно было утверждать наверняка) ни при какой погоде он не вернется никогда.

«Вот так вот,— повторял про себя мужчина,— вот так!..»

Белобрысеньякая, утомительно шустрая его дочка лазила здесь же поблизости, среди подкопченных деревянных строений, предназначенных якобы для детской игры, но в сущности бутафорских и неудобных для нее. У соседней лавки без пригляда стояла коляска с младенцем — наверное, его бабушка или мать отлучились ненадолго по какой-нибудь необходимости. Дочь то и дело подбегала к младенцу и с вопросительной, слегка усмехающейся женской улыбкой, заглядывала внутрь коляски, поднимаясь на цыпочки.

— Ты сте? Ты сте? Сте смотришь? — улыбалась она.

Собравшись с духом, мужчина взял наконец девочку за руку и повел ее в подъезд.

Лестница была та самая, с широкими пологими ступеньками, и мужчина хлопал ладонью по довоенным

мощным перилам, без радости, как чужое, узнавая нечеткие фигуры оленей, выбитых на чугунных их кругах. Аляповатые и грубые, они казались ему раньше красивыми эти рогатые олени, торжественными, немножко таинственными.

— Здесь! — остановился он у дверей на четвертом этаже.— Вот здесь, доча, мы и жили.

— Кто? Кто жил?

Пальчики девочки шевельнулись в его повлажневшей ладони.

— Бабушка, дедушка, твой папа и тети.

— А давай пойдем к бабушке! — предлагая новую игру, засмеялась тоненько девочка.

Он представил себе коридор, двери к соседям, ванну, туалет и напротив туалета плохо почему-то различимую, подмытую в памяти дверь туда, «к бабушке», представил пол — длинные толстые доски с выщербленными окаемами краски между щелей. Можно было что-то придумать — сказать например, что соседей снизу нет, а мы по обмену, по объявлению и разрешите, если можно, если вас не затруднит, взглянуть. Да врать было отчего-то затруднительно сейчас, не к душе.

— Пойдем,— позвал, потянул он за руку девочку.— Пойдем-ка обратно, доча. Хватит нам с тобой.

Спустились, и первое, что увидел мужчина, оказалась белая торцовая стена дома, заступавшего в бывший его двор,— глухая без окон и дверей панельная стена, за которой по совпадению жила его другая, оставленная десять лет назад старшая дочь.

— Знаешь, кто тут живет? — кивнул мужчина на стену.

— Да-а!! — закричала, заподпрыгивала от радости девочка.— Знаю! Пойдем-пойдем к ней, папа, сяс зе!

Он вернулся в город с полгода назад, а на это дело — соединять дома, свой бывший и новый, где жила Старшая, отваживался в первый раз. Проходя он ощущал до сегодня дома по отдельности — дом справа и дом слева, тот или этот, а нынче, сейчас вот, ухватясь за парашютное кольцо ручки Младшей, он решил все-таки попробовать — соединить. *Человек рождается чистым,* — вынужденно согласился он с чужими не понятными раньше словами, — *и в том дарованная ему небом натура. Но окружающий мир подступает к человеку и зарождает в*

нем желания — любовь и ненависть, которые не имеют предела. И окружающий мир подступает к человеку, и человек истощает себя в желаниях.

— Вот тут, доча, и тут,— объяснял он зачем-то дочери,— стояли бараки, а тут гаражи, а тут забор.

— Папа, а мы зайдем? — дергала, тащила его за руку девочка к панельному дому,— зайдем к ней?

Но «папа» сказал — нет, они не зайдут. Старшая уехала трудиться в трудовой лагерь, объяснил он, и заходить постоумо бесполезно.

Старшей, когда он ее оставил, было столько же, сколько скоро исполнится Младшей. Для облегченья он придумал тогда себе, что в этом возрасте, возрасте детской гениальности, она как-нибудь догадается про его уезд, не осудит строже, чем он заслужил, и, приезжая, виделся потом с нею раз за разом, и это была одна голимая бесконечная мука, но он все равно ездил, приезжал, заставляя себя, и, встречая, говорил вязнущие в зубах, внешние ненужные им обоим слова, чуть не нарочно терзал и загонял себя в угол — да-да, это моя дочь, говорил он себе тогда, ее пальчики, и ее голос, и ее мягкие лучшие на свете светло-русые волосы, и я, думал он, это я, я, я оставил ее — я!

Он ждал ее обычно где-нибудь в школе — тоже по совпадению в той, где учился когда-то сам, и, дождавшись и увидав, поражался всякий раз неожиданной и избыточной, как казалось ему, хрупко-прозрачной ее, его дочери, красоте, ее неисполненной, ускользающей все куда-то близости, а потом, позднее, когда народилась Младшая, он, невольно сравнивая, пугался больше и больше сходству. И смех, и нежная тень в ямочках, когда они, его дочери, улыбались ему, и чуть прячущееся радостное или, напротив, грустно-укоряющее любопытство в слегка продолговатых косульях глазах. Иногда казалось, что это одна такая девочка-дочь, что крутится вперед-назад одна и та же запутавшаяся киноплёнка, возвращает знакомый, разве чуточку подновлённый, но узнаваемый по ознобу, по холоду в животе мучительный сладкий сон. Сон его жизни. И, (как и надеялся он в глубине души) чем быстрее подрастала-взрослеала Младшая, тем легче, посильней становилась ему его память и даже тот ее, тот тяжкий и самый неподъемный ее миг, когда он стоял, задрал голову в подъезде Старшей и

слушал, как бегут, убегают, убывают от него, топоча по ступеням, ее сандалики, и, неожиданно нащупав в кармане им самим надписанные конверты — жалкая, так и не осуществившаяся уловка «переписки», он крикнул, позвал ее с середины пути, выкрикнул на весь подъезд им же когда-то придуманное имя, и она, послушная девочка, вернулась к нему и, не взглянув, с той же добросовестной сосредоточенностью бега, не взглянув, не приостановившись и не переведя дыхания, забрала из его руки конверты и снова, с нуля, повторила ужасный, невозможный, добивающий его до мокренького, пробег.

Дверь наверху бахнула, осела, опустилась на ступени какими-то черными хлопьями тишина и в ступом, пустопорожном подъездном молчании и изведальось им тогда нечто, растворенно-скрытый до поры замысел собственного его существования, а может быть и не только его. Это было, показалось ему, дно жизни, до которого, говоря торжественно, он сподобился донырнуть.

— Ну пап, пап! — канючила, волоча его за руку Младшая.— Ну позялуйста, ну зайдем, ну пап!

Он уступил. Так, из экономии сил, чтобы просто не спорить с ней. И они очутились в подъезде, в узеньком и игрушечно-несерьезном, как и вся эта новая, по ощущенью мужчины, скороспелая, скомканная и не сознающая себя жизнь, и его Старшая, кто б мог подумать, оказалась дома — в лагере труда и отдыха осуществлялась как раз пересмена.

Неохотно, но все-таки Старшую отпустили с ним и Младшей, разрешили погулять в парке час, и теперь, втроем, они доехали троллейбусом до парка, до карьера, до камней и сосен вокруг него, до легкого его и чистого еще песочка, из которого, присев на корточки, Младшая тотчас выстроила им всем Дом.

— Вот,— объяснила она Старшей, завершая работу,— мы будем зесь зить. Ты, папа и я.— И грязным пальчиком указала поочередно будущих жильцов — ты, он и я. — Я — строительница Младшая, заселяющая дома по собственному усмотрению.

Старшая, когда выбирались наверх, поднималась первой, и он, ее отец, видел, как чуть плоскостопо, чуть слабосильней, чем ему хотелось бы, подвернулась, соскользнув с камня ее нога, и это тоже было, конечно, к нему — к нему, но он — он справился и, когда подьем

был позади, спустил с рук на траву Младшую и напоследок оглянулся назад, вниз. Он хотел запомнить место, где отныне будет стоять их общий на трех членов семьи дом. Вода в тени карьера мелко рябила от ветерка, а на солнце была гладко-прозрачной, серовато-голубой, как глаза его красавиц-дочерей, а слоистые коричнево-серые камни, укутанные снизу в нежно-зеленый мох и изогнутые маленькие сосны,— отдаленно походили на средневековую гравюру. *Человек рождается чистым.*

Они, Старшая и Младшая, шли впереди, взявшись за руки, Младшая подпрыгивала и что-то говорила Старшей, а та, слегка принагнувшись, как и должна Старшая сестра, слушала и улыбалась ей. И ему сделалось легче, проще, он стал им теперь как товарищ, а не псевдоопытный, псевдоуяснивший себе устройство мира отец,— и он благодарил в себе потихоньку за все это Младшую и не боялся больше любоваться Старшей. Лишь бы он, примечталось ему, не помешал им как-нибудь со своим подступившим к нему миром.

— До сидания, до встречи! — срываясь голосом, кричала в подъезде Младшая Старшей, а он, отец, держал ее ладошку в своей руке и впервые за долгие годы разлука со Старшей была ему по плечу.

Они с Младшей еще разок обошли старый дом, дом, куда его принесли из роддома и с которого они начали сегодня, и, обойдя снаружи, с внешней стороны, стали ждать троллейбус на троллейбусной остановке. Что ж, думал про себя мужчина, вроде бы все получилось неплохо с соединением.

В троллейбусе Младшая быстро отыскала пустое место у окошка, заняла его, но не смотрела туда, а крутилась и корчила всякие рожи. Соседка по сиденью, пожилая, со строгим, педагогическим выражением лица сделала ей замечание.

— Убери язык,— предупредила она знающе вещим голосом,— а то микроба съедет.

Младшая удивленно взглянула, вскинула на нее косульи глаза, но язык не убрала.

— Съедет микроба,— усиливала внушительность строгая женщина,— и ты будешь болеть.

Младшая снова на нее покосилась, но язык высунула еще дальше. Язык был розовый, свежий и широкий, с небольшим беловатым налетом у корня.

— Мы уберем,— зашла тогда с другой бесприкрытой стороны опытная педагогша,— у нас микроба не съедет, а они,— мотнула она головой на двух детишек с передних кресел,— не уберут и заболеют. Они плохие, а мы хорошие. Они не уберут и заболеют, а мы уберем и не заболеем. Мы ведь хорошие!

Но и тут Младшую не удалось провести. Не-ка,— закрутила она из стороны в сторону курчаво-светлой своей башочкой,— нет, она, Младшая, не хорошая! — понял ее он, ее отец.

«Баба пошла за водичкой,— вспомнился ему давнишний, десятилетней давности рассказ Старшей,— и на нее напали гуси. А она как закричит: «Деда, деда, помоги!» И деда помог».

Троллейбус остановился. Мужчина вылез, вытащил из потной, перенабитой, но покамест вежливой его тугизны Младшую за подмышки и осторожно поставил на тротуар.

— Ну что, доча,— спросил он у нее, отдуваясь и слегка робея,— правильно мы с тобой сегодня съездили?

И ждал, смотрел на нее, почти почему-то уверенный в положительном ответе. Девочка же, опустив глаза, стукала рантом сандалика по асфальту и не отвечала ему. «Я знаешь как тебя люблю? — вспыхнули в нем тогда забытые, поросшие быльем и, как надеялось ему, навек погребенные в Лете слова Старшей.— Я люблю тебя до небушка!»

ВАГАНЬКОВСКОЕ

Там стояла часовня, а в ней отпевались шесть или восемь старух, и как-то отдельно — либо просто повыше гроб? — лежала женщина лет двадцати шести, совсем совсем не похожая на темноликих старух, а вполне и законченно прекрасная, небесно-какая-то голубая. И почему-то ясно было — нет! никакая это не смерть, а если и смерть, то вовсе не та, что видел ты где-нибудь в морге. Шло, повторяю, отпевание, поп с русской обычной бороденкой тянул речитативом о «тишине животней» и «небесной лестнице», и пахло смертью, ладаном и пахло чем-то еще.